

Эта сторона

1

— А что там, с той стороны моста?

Егор уже, наверное, в сотый раз спрашивает это — и не устает, потому что ответ каждый раз разный.

Огромный мост уходит в зеленую муть, в густой ядовитый туман, постепенно растворяется в нем и исчезает из вида полностью уже метров за двадцать от берега. Иногда ветер налетает на него, пытается разогнать, но не может.

Зеленая завеса приподнимается всего еще чуть-чуть — и за ней видно все то же: ржавые рельсы, ржавые балки и ржавые фермы, поросшие чем-то рыжим, будто водорослями, но не водорослями; чем-то, шевелящимся и на ветру, и без ветра.

Туман нельзя разогнать, потому что он поднимается от реки. Туман — это дыхание самой реки, медленной, пенной, больной.

Самой реки с берега тоже не видно: бетонные быки моста сходят в нее где-то уже во мгле. Зато слышно ее хорошо и через туман — ее чавканье, хлюпанье, урчание. Кажется, что она живая, но это только кажется. Ничего живого там, внизу, нет. И ничто живое, попадая туда, не может там уцелеть. Деревянные лодки обугливаются, резиновые идут пузырями и лопаются. Местные по берегу и на пушечный выстрел к воде не подходят. И то сказать, одно слово — вода... Какая же эта вода?

По реке нельзя сплавляться — даже на баржах с железными боками. Те, кто отплывал по ней вниз, никогда не возвращался. И никогда никто не приплывал по ней к мосту сверху.

Поэтому и названия никакого реке теперь не нужно: река и река.

А раньше она называлась «Волга».

Егор не отстает:

— Ну так что?

— Что-то... Города какие-то, наверное. Такие же пустые, как вон наш Ярославль. Сам же знаешь, что спрашиваешь?

— Я-то как раз ничего не знаю. Это вы ж у нас все знаете, Сергей Петрович.

— Попробуй только нос на мост сунуть! Голову тебе оторву! Ясно тебе?!

Дмитрий Глуховский

— Мне-то ясно, Сергей Петрович. Я-то что? Просто балда с гитарой. Это вы же у нас комендант! Мне-то и не нужно этого знать. А вы-то? Это вам ведь точную границу империи оборонять!

Полкан смотрит на Егора хмуро. Трет лысину. Отодвигает в сторону стакан в серебряном железнодорожном подстаканнике. Рычит:

— А мне хватает того, что я знаю, понял ты, умник? От Москвы и на тот край света идет эта наша гребаная железная дорога. Но как по мне — она на нас и заканчивается, раз с той стороны уже столько лет никто не стучался. Каждый своим делом должен заниматься, ясно тебе? У каждого свой пост!

Полкан барабанит пальцами по столу, пытается придумать себе занятие, под предлогом которого мог бы вышвырнуть Егора из своего кабинета. Урок политинформации кончился, не начавшись.

Егор предлагает перемирие:

— Гитару отдай, я пойду.

— Хрена тебе, а не гитару, понял?! Иди историю учи, и потом рукопашный бой у тебя будет, а вечером поговорим про твою гитару! Раздолбайничать он хочет, а учиться он не хочет ни хрена! Географию империи иди учи! Что тебе та сторона уперлась? Ты хоть вбей себе сначала в башку, что с этой!

А что с этой стороны?

Пустые дома, пустые улицы. Пустые жестянки брошенных машин. Костиничейные — и порознь, и в обнимку. Дикие собаки.

Живых мест осталось мало. Разве что на постах, в станциях-крепостях сидят люди, прицепившись, прилепившись к железной дороге — и оцетинившись.

Полканов Пост, получается, самый крайний. Гарнизону велено охранять точные подступы Московии, и он, верный присяге, стережет мост. То ли от бунтовщиков стережет, то ли от кочевников, то ли от зверья — сейчас уже даже Полкан не скажет от кого.

В учебниках истории, по которым Егора заставляют учиться, все заканчивается благостно: процветание, справедливость, вхождение в новую эру. А где эта эра накрылась медным тазом, туда учебник уже не достает. Нужно верить Полкану, который говорит, что народ взбеленился, предатели растащили страну по частям, а столица была слишком обескровлена, чтобы и дальше держаться за отваливающиеся земли. Москва тогда, дескать, провела границу по отравленной ядовитой Волге, поставила на этом берегу Пост, про тот берег забыла и занялась своими делами. Дел было еще невпроворот.

Была Россия — стала Московия.

Больше Егору знать и не полагается. Глядя Полкану в его свиные глаза, он говорит:

— Сдались мне эти твои география с историей. Екнулся старый мир, да и хер бы с ним. А гитару я все равно сопру. Не ты дарил, не тебе и отбирать, понял?!

Егор отодвигается потихоньку поближе к выходу, чтобы успеть вышмыгнуть, пока отяжелевший, закостеневший Полкан выберется из-за своего стола. Тот натужно соображает, что именно Егор ему сейчас сказал; в конце концов трясет кулачищем:

— Гляди у меня, балда! На ночь за стеной оставлю, вот тогда увидим, какой ты храбрый! А балалайку твою в печку кину!

— Посмей только!

Но гоняться за Егором коменданту лень. А потом — зачем сейчас гоняться, если ночевать им все равно под одной крышей. Егор сам придет к нему в лапы как миленький. Не за стеной же, в самом деле, спать! И Полкан, не вставая, рычит глухо:

— Не хочешь учиться — не учи! Семнадцать лет человеку, а он только брэнчать хочет да шляться, а думать он не хочет ни о чем! Знаешь что? Хочешь за мост — валяй, шагай! Отпускаю! Только никуда ты не пойдешь, ясно? Потому что никуда от мамки своей не денешься! Сидишь под юбкой у нее! Только мне хамить вон умеешь, а больше ничего не умеешь!

— Я под юбкой, а ты под каблуком! Сам-то ты что можешь? На жопе только сидеть и командовать! Что тут, много ума надо? Командир, блин!

— Пшел вон! Вон пшел отсюда!

Егору только этого и надо: довести Полкана до белого каления.

Он сует руки в карманы и скатывается по ступеням с верхнего этажа коммуны — вниз.

2

Проскакивая второй, Егор тормозит у дерматиновой двери, у четвертой квартиры. Затаив дыхание, слушает — услышит ее голос? Нет?

Слух у Егора острый. Соседские разговоры слышит за стенкой дословно, по собачьему лаю слышит, как от китайцев подводки идут; знает, на какую ноту свистит чайник, а на какую воют волки. Мать говорит, это он в своего настоящего отца таким пошел. Дурацкий, говорит, дар, ничего от него хорошего.

Нет. Не слышно ее. Молится за дерматиновую дверь их старушенция, а больше ничего. Зря останавливался. Егор прыгает через несколько ступеней и летит дальше вниз.

В подъезде забирает приставленный к стенке лонгборд.

Становится на колеса, но никуда не едет: смотрит в окна над собой. В окна второго этажа. Окна пустые; на секунду ему кажется, что за стеклом, как подо льдом, скользнула она — распущенные светлые волосы, худые загорелые плечи — даже прозрачные серые глаза видятся... Неужели прослушал ее, неужели пропустил? Егор вскидывает руку, машет стеклу и льду — неуверенно.

Дмитрий Глуховский

И тут же спиной чувствует взгляд.

Мишель стоит у гаражей и смотрит на него насмешливо и заранее устало — она не хочет даже начинать этот разговор: привет, как дела, у меня нормально, — потому что лучше Егора понимает, что там, за этой словесной шелухой. Ей двадцать четыре, Егор для нее слишком мелок и недостаточно крут, хоть он и пасынок коменданта Поста. Егору семнадцать, у него уже, конечно, все было; но было только так — для порядка и для очистки совести, с китайской проституткой на Шанхае. А Мишель — звезда, принцесса, инопланетянка.

В руках у нее айфон: ее вечный старый айфон, с которым она не расстанется ни на секунду. Мобильный, по которому нельзя никуда звонить, потому что сотовые сети упали давным-давно, еще в начале войны. Но он нужен Мишель не для того, чтобы звонить в настоящее. Он ей для связи с прошлым.

Егор шмыгает носом.

— Привет. Как дела?

Мишель смотрит на него — и он видит в ее взгляде что-то еще, не только вечную ее утомленность от Егоровых неумелых ухаживаний. Видит черноту — глаза перегорели. Она набирает воздуха, чтобы сдуть Егора из поля зрения, но вместо этого говорит бессильно и как будто бы равнодушно:

— Телефон сдох.

— Это как сдох?

— Не знаю. Должно же было это когда-нибудь случиться.

Как будто равнодушно — но ее голос дрожит, и Мишель отворачивается от Егора, смотрит в пустоту за воротами.

Егор тогда пыжится, чтобы выглядеть и звучать как можно увереннее:

— Ну как-то, наверное, можно починить его!

Мишель смотрит на него внимательно, в упор. У Егора головокружение. Он слушает ее запах.

— Как? Я носила уже Кольке Кольцову. Он говорит — этому хана, был бы новый — можно было бы попытаться память перекинуть, а так...

— Ну тогда, — глупо улыбаясь, говорит Егор, — добро пожаловать к нам на Пост, наконец. Чувствуй себя как дома. Тут у нас застава, там больница, а это школа. Нужники на улице — канализация не пашет...

Мишель скрещивает руки на груди. Голубая джинсовка съезжается, как панцирь. Она смотрит на него с ненавистью:

— Дебил. Не смешно.

Она отворачивается, сутулится и уходит. Егор потеет, улыбка превращается в судорогу, но слов, чтобы остановить Мишель, он найти не может. Сейчас он ее потеряет навсегда. Он и сам с собой не стал бы после такого разговаривать, а уж Мишель... Дебил. Точно, дебил.

Надо что-то придумать срочно. Что угодно. Сейчас!

Он комкает слова, лепит сумбур:
 — Я тут песню придумал... Написал... Хочешь, сыграю?
 Слава богу, этого она уже не слышит.

3

Мишель берет за дверную ручку очень осторожно: ручка скрипит, дверь скрипит, жирно лакированный сосновый паркет скрипит, все скрипит в этой проклятой квартире. Дед смеется: как по минному полю идешь — не туда ступил, кранты. Бабка услышит — и все, приехали. Дед про минные поля знает, в войну сапером служил.

В глубине квартиры пульсирует заунывное, скрипучим голосом:

Алый мрак в небесной черни
 Начертил пожаром грань.
 Я пришел к твоей вечерне,
 Полевая глухомань.

Нелегка моя кошница,
 Но глаза синее дня.
 Знаю, мать-земля черница,
 Все мы тесная родня.

Это бабка с надгробным пафосом бубнит своего Есенина. Твердит непослушными губами стихи, думает, что так память не потеряет.

И придем мы по равнинам
 К правде сошьего креста
 Светом книги Голубиной
 Напоить свои уста.

С порога шибает старческой кислятиной. Воздух густой, как вода. В солнечном луче вихрится золотая пыль — будто бы планктон под фонарем ныряльщика. Причитания затихают.

Мишель делает шаг, другой — и из комнаты, конечно, слышится:

— Никита! Никита!

Мишель с досадой выпускает из себя воздух, набранный в легкие, чтобы плыть, не касаясь паркетного дна.

— Никита! Это ты? Кто это?

Наконец Мишель нехотя отзывается:

Дмитрий Глуховский

— Это я, баб!

— А дед где?

— На дежурстве он, баб!

Теперь нужно войти к ней поскорее, потому что иначе бабка может испугаться и расплатится еще, чего доброго. До инсульта она была кремень, и даже когда ее родная дочь сгнула в отключенной от связи Москве, она при внучке не плакала. А теперь вот чуть что — сразу в слезы.

У бабки все отнялось, кроме правой руки. Она приподнимает голову, тянется навстречу Мишель, тревожно хмурится — а потом узнает Мишель, улыбается ей и бросает голову на подушку. Просит настойчиво, но по-детски настойчиво:

— Деда найдешь мне?

— Он отдежурит и придет, ба! Он тебе зачем? Тебе судно поменять? Подмыть? Давай я сделаю!

Мишель говорит нарочито спокойно. Но получается как будто зло. Мишель спрашивает себя — слышит бабка в ее голосе эту злость или не слышит? Было бы стыдно, если бы услышала.

— Нет, внучка, нет. Спасибо.

— А зачем?

— Низачем. Я подожду его. Я подожду.

Бабка пытается улыбнуться Мишель благодарно, но левая половина рта у нее неживая, и вместо улыбки получается ухмылка.

Вся комната заставлена старьем. В буфете фарфор: какие-то печальные собачки, мальчики в матросках со стертыми глазами; на шифоньере — ящики с неизвестным барахлом, все в пылице.

От кислятины глаза слезятся. Трудно возвращаться сюда с улицы.

Мишель поскорее уходит, притворяет к бабке дверь и слышит, как та опять принимается читать нараспев:

Белая береза
Под моим окном
Принакрылась снегом,
Точно серебром...

Мишель, конечно, знает, зачем бабке ее Никита. Наизусть знает, какие разговоры она собирается с ним заводить. Ей жалко бабку, но деда ей еще жальче, и поэтому она даже и не пойдет его искать, и не станет ему рассказывать, что бабка его звала.

Она заходит в кухню, закрывает дверь поплотнее, садится на свою табуретку, выуживает из кармана наушники, чтобы заглушить бабкино бормотание музыкой, достает свой телефон — и только тут вспоминает, что тот сдох.

Мишель по привычке, по инерции смотрит в перегоревший черный экран, но видит там только себя саму. А раньше там был весь мир — весь ее довоенный московский мир. Родители — живые, пятикомнатная квартира в центре и дом за городом, отмытые до блеска проспекты и выложенные брусчаткой улицы, расфурфиренные школьные друзья, кафе с угодливыми официантами и самыми фантастическими блюдами.

И еще видео с хохочущими людьми. И видео с отцовскими наставлениями.

И много музыки — саундтрек ко всей ее прежней московской жизни. Все эти годы на Посту Мишель не вынимала наушники из ушей: слушала все свое прежнее, пыталась наложить старую свою роскошную музыку на новую убогую картинку. Клеилось плохо, но всегда можно было закрыть глаза.

Теперь вот пришлось открывать.

4

Полкан выходит во двор и оглядывает свою крепость.

Крепость для гарнизона слишком велика — зато лучше места для нее было не придумать. До Распада тут располагался Ярославский шинный завод; огромная территория с тех пор еще была обнесена бетонным забором с колючкой поверх, на въездах еще прежними владельцами были устроены КПП, а огромные чадные трубы могли бы стать такими дозорными башнями, с которых тот берег было бы видно до самого горизонта через любой туман — да вот только по ним наводились бомбардировщики, поэтому долго они не простояли.

А теперь охрана обходит все эти гектары раз в день, овчарки обнюхивают периметр, проверяют — не подкопался ли кто под забор, не перемахнул ли, — приближаются к кирпичным заводским корпусам и до темна возвращаются обратно в коммуноу.

Коммуна стоит с самого края завода: две малоэтажные панельки, гаражи, дворик. Одна раньше была административным зданием, другая — поделена на типовые квартирки, в которых существовали от зарплаты до зарплаты, а иногда и в кредит, нормальные люди, большинство шинники. Получили тут жилье за выслугу своих резиновых лет.

Когда нормальная жизнь гикнулась вместе с зарплатами и кредитами, а российское человечество сильно поредело, граница обитаемого мира была перенесена ближе к столице, а уцелевшие по эту сторону ядовитой реки сгучились на территории бывшего шинного завода. Их уже немного оставалось, так что делить им было особо нечего; куковать одним в своих старых квартирах — без окон, а иногда и без стен — было и тоскливо, и опасно. Человек человека греет все-таки...

Собрались они на Посту, спрятались за его бетонными заборами, обжили его общагу, в гаражах наладили какие-то мастерские, поставили сторожевые башенки, присягнули на верность Московии и стали как-то быть дальше — на самом краю мироздания.

Земля, кажется, все еще оставалась круглой, но верили теперь в это не все, а научные споры вести было и вовсе некому. Геополитическая карта стала меньше, а темных пятен на ней — больше; даже, собственно, Ярославль, по-хорошему, надо было бы на этой карте перерисовать, да только в город никого было не выгнать.

Из одной квартиры сделали клуб, из другой — столовую, в третьей разместили медпункт, а в четвертой детский сад и школу разом — потому что дети упрямо рождались: жизнь-то шла своим чередом, и те, кто потерял на войне свои первые семьи, тянулись к друг другу за утешением. Сильней любви только клей шибает.

От Полкана первая жена сбежала куда-то, допустим, в Королев, еще до Распада. Полкан тогда рулил отделением полиции по Ленинскому району, домой возвращался на рогах, жену третировал, и вот она дала ему отставку.

Потом прежняя Россия кончилась, а когда дым рассеялся, Полкану стало одиноко. Он заприметил Тамару, но та была не одна, с ней в комплекте шел Егор. Егоров отец куда-то от нее делся, и искать она его не планировала. Нутром ощущала, что в живых его больше нет, а значит, обязательствами она не связана.

Тамара многие вещи знала, просто знала — и все.

«Заприметил», — это Полкан сам так сказал ей.

Остальные говорили: «Голову потерял». Тамара была, конечно, для своего возраста очень красива. Но в то, что Полкан ее, цыганку, готов полюбить всерьез, а не на вечер, и в особенности в то, что он захочет, как родного, воспитывать цыганенка, она не верила.

Полгода он ее осаждал, подвергая унылым ментовским ухаживаниям и клянясь, что станет Егору папкой — при том, что уже тогда был командиром Поста и виды на него имели многие.

Через месяц после того, как Тамара согласилась с ним сойтись, Полкан стал пить меньше; на новую жену руки не подымал. Но никаким папкой он Егору не стал, а Егор не стал ему сыном. В отличие от Тамары Егор в смерти пропавшего своего родного отца уверен не был.

Никому никогда и в голову не приходило, что Егор мог бы быть сыном Полкана — кряжистого, брыластого, с башкой, растущей прямо из плеч.

Из уважения к Полкану Егора «цыганенком» на Посту даже за глаза никто не называл. Называли «Полканов выкормыш».

5

Егор глядит на алые силуэты панельных домов, которые маячат над путями. Там гниет город Ярославль. Сгонять туда? Может, повезет.

Здорово было бы вот так вот запросто взять и найти мобильник. Найти айфон и принести ей, вручить ей с таким видом, как будто ничего такого в этом особенного нет: вот, у меня, кстати, заваялся старый, решил тебе его слить, твой же вроде сдох, да?

Или нет.

Или лучше уже описать все приключения, с которыми ему этот телефон достался. Как трудно было выбраться с Поста, что именно пришлось наврать охране, по чьей наводке он попал в ту самую квартиру, где у мертвых жильцов был припрятан не распакованный еще, новенький айфон. Новый было бы круче, чтоб прямо в коробке; это Мишель точно бы оценила!

Отпроситься у охраны на воротах, соврав, что Полкан Егора отправил с заданием на заставу? Но они могут начать звонить отчиму, а тот наябедничает матери, а мать устроит истерику, мол, Егорушка опять напрасно подвергает себя чудовищным опасностям. Как по ней, лучше было бы, если бы он сидел круглые сутки во дворе на лавочке и палочку ножиком строгал.

В полуобрушенных заводских корпусах расположено бомбоубежище: начинается оно на территории завода, но выходит катакомбами за ее пределы. Там, в подземелье — Егоров тайный ход, тяжеленная чугунная дверь с замком-вентилем, как на подложке. Не известный никому, кроме него и Полкана. Когда-то отчим, пытаясь с Егором подружиться, показал ему этот лаз под большим секретом.

Для дружбы этого не хватило.

Егор берет в караулке короткий семьдесят четвертый, выбирается за стену, становится на свой лонгборд и катит вдоль путей до города. Ветка доходит как раз до Ленинского района, бывшей Полкановой вотчины.

За воротами КПП можно по Советской ехать, а можно по Республиканскому проезду — и то, и то ведет от реки внутрь города.

Ярославль состоит из всего подряд: тут «сталинка», тут панелька, тут трехэтажная стекляшка ТЦ, тут карусель, тут помойка, тут памятник Ленину в голубином дерьме, тут церковь обшелушенная; красоты недостача.

Нынешние обитатели Поста в город ходить не любят; если только в Родительскую субботу. Придут, потолкуются, повздыхают, разопьют по-быстрому пузырь. Посмотрят в слепые окна, повспоминают, какая раньше жизнь была, посмеются над бедами, которые тогда казались страшными, поплачут потихоньку над теми, кого не воротить, — вот и вся программа.

Дмитрий Глуховский

А Егору Ярославль по кайфу. Тут доска нормально едет. Хороший здесь асфальт, дыбятся только местами, где-то корни взламывают серую корку, где-то воронки от снарядов — но так ехать даже веселей.

Зря мать параноит — в городе ничего такого уж опасного нет, от чего не спас бы укороченный ментовской «калаш». Может, по ту сторону реки все и кишит какими-нибудь чудовищами — но через реку они, как и люди, перебраться не могут.

Егор катит под путями к автобусному парку, мимо приплавленных к асфальту автобусов гармошками — к сгоревшему торговому центру. Тут раньше находился салон сотовой связи: на первом этаже, за фудкортом. Мобильные раньше были самым ходовым товаром, у каждого имелась своя трубка. Куда же, черт их дери, теперь-то все подевались?

Он въезжает на скейте прямо внутрь; в потолке зияет дыра, через нее падают внутрь бледный свет и жухлые листья. В ТЦ, конечно, все уже сто лет как разграблено. Сгоревшее кафе, сгоревшая блинная, сгоревшая бургерная.

Вот и он: черно-желтый салон с оплавленной девушкой на постере — половина лица улыбается, половина обуглена.

Егор ворошит носком сапога горелые пластмасски, заходит в темную подсобку. Конечно, ничего. Капает откуда-то вода, ветер дует в трубы, как в свирель. Шуршат крысы. Егор бессознательно раскладывает капель по нотам, слова придумываются сами:

Ветер дует в трубы, как в свирель.
У него обветренные губы.
Ртутная тяжелая капель,
Нудная, тупая канитель.
Тик, так, тик. Гадаю: лю
Или не любит?

Егор останавливается, кладет пальцы на деку отобранной Полканом гитары, перебирает воздух, подбирает аккорды; потом, так и не закончив, бросает. Становится на свою доску и катится дальше; не хочется возвращаться домой с пустыми руками.

Пока он доезжает до блочной многоэтажки, Ярославль успевает, как губка, напитаться темнотой. Входя в подъезд, Егор включает фонарь. Поднимается от этажа к этажу, дергая дверные ручки брошенных квартир. Иногда ему чудится, что в квартирах что-то движется, но это, наверное, ветер хлопает оконными ставнями и дверцами кухонных шкафчиков.

Егор находит незапертую квартиру, пробирается внутрь.

За кухонным столом сидит мумия в осенней ветровке. Руки черные, скрюченные, лежат на столе.

Егор садится напротив. Он по городу часто один лазит, его таким не напугаешь. Раньше, то есть, еще было страшновато, и Егор тогда придумал себе с мертвыми разговаривать.

— Привет. Как дела? Что нового?

— Да какое новое, брат. Из дома не выхожу.

— Ну, так-то ты ничего и не пропустил. Там, снаружи, тоже без изменений. Тебя как звать-то?

— Семен Семеныч. А тебя?

— А меня Егором. Егор Батькович.

— Ну спасибо, что проведал, Егор Батькович.

— Да мне не трудно, я тут рядом живу. Слушай, Семен Семеныч, а ты не против, если я у тебя карманы гляну? Мне тут айфон нужно позарез. У одной девчонки сломался, и я вот, короче... Подарить ей хотел.

— А что, красивая девчоночка-то?

— Да вообще огонь.

— Ну, блин. Так-то я не очень это люблю... Ну уж если ты прямо втюрился... Ну ладно тогда.

— Спасибо. Я аккуратно.

Егор лезет к Семену в карманы, тот старается держаться прямо. Карманы у него пустые. Егор тогда отряхивает руки, обходит квартиру, залезает в шкафы, но у Семена Семеновича дома хоть шаром покати.

Егор заглядывает еще в две другие квартиры.

Тут все вверх дном. Шкафы и серванты выпотрошены, все их содержимое вывалено на пол и растоптано. Валяются книги с вырванными страницами, под ногами хрустит хрустальная крошка от битых рюмок и фужеров.

Город за окном становится из алого сизым: солнце закатывается.

Пора возвращаться.

Егор закидывает «калаш» на плечо и катится по растрескавшемуся асфальту.

6

— Деда, пойдем домой!

Мишель глядит на деда Никиту одновременно просительно и строго; старый Никита показывает ей свой стакан, который наполовину полон.

— Еще не время!

— Бабка ноет. Где Никита, где Никита, «Березу» свою — и опять по новой.

Дед Никита обводит присутствующих унылым взглядом. Другие два старых хрыча, давние его друзья, еще заводские, понимающе вздыхают: дескать, прости и прощай, дорогой товарищ. Наспех чокаются, глотают мутный самогон, и дед

Дмитрий Глуховский

с кряхтением поднимается со своего насеста. Идет неровно — полный с краями стакан в нем бродит.

У входа в подъезд они оба переглядываются еще раз, и вдруг Мишель хватается деда Никиту за рукав.

— Я больше тут не могу, деда. Я тут сдохну.

— Ну вот прямо и сдохнешь!

— Я тебе серьезно.

— Ну и я не шучу. — Дед вздыхает. — Если б твои родители были живы — да неужели бы они тебя к себе не забрали? Отец в тебе души не чаял! Ты у него с рук не слезала... А тут сколько лет прошло — и ни слуху ни духу.

Сколько раз их разговор упирался именно в это: в ее упрямое нежелание допустить, что родителей давным-давно нет.

— Ну и че? Ну ладно, ну умерли они. И че?

— И кому ты там нужна тогда?

— Дяде Мише. Тете Саше.

— Позвонить они могли за столько лет, дядя Миша? Не звонили же.

Она мотает головой, но по лестнице за ним наверх все-таки бредет. Навстречу им соседи, из распахнутых дверей хлещет свет, слышны детские смех и плач, ругаются какие-то муж с женой, не думая даже закрыться. Коммуна так потому и называется, что вся она — одна коммуналка на четыре этажа. Какие уж тут секреты, какая личная жизнь.

Дверь, конечно, скрипит, и бабка сразу слышит этот скрип:

— Никита! Ты? Никита!

— Я, Маруся, я.

— Пойди ко мне. Пойди. Поговорить хочу.

Мишель садится в кухне и смотрит в стену. Хочется достать телефон: без телефона хоть вешайся.

— Что ты, Маруся?

— Надо повенчаться, Никита. Мне скоро помирать, а мы не повенчаны. Не найдемся друг с другом на том свете. Мне там одной тоскливо будет. Тебе разве нет?

— Будет, Марусенька. Я, может, к тебе в рай-то и не попаду еще.

— Тьфу тебя! Опять пил?

— Вот именно. А алкоголиков туда не берут, по-моему. Там твой Михаил Архангел скажет мне: «Ну-ка, дыхни!» И не пустит. Или кто там на воротах? Михаил или Гавриил?

— Зря ты так! Дурак!

Бабка всхлипывает, плачет. Мишель поднимается, прислоняется лбом к холодному стеклу; смотрит во двор.

— Не очень шутка, согласен. Да кто нас повенчает-то, Маруся? Тут стариков-то отпеть некому, а ты «венчание». Полкана вон, что ль, попросить?

— Дурак!